

Czesław Gorbaczewskij

Специфика колымского юмора

Acta Polono-Ruthenica 18, 35-45

2013

Artykuł został opracowany do udostępnienia w internecie przez Muzeum Historii Polski w ramach prac podejmowanych na rzecz zapewnienia otwartego, powszechnego i trwałego dostępu do polskiego dorobku naukowego i kulturalnego. Artykuł jest umieszczony w kolekcji cyfrowej bazhum.muzhp.pl, gromadzącej zawartość polskich czasopism humanistycznych i społecznych.

Tekst jest udostępniony do wykorzystania w ramach dozwolonego użytku.

Czesław Gorbaczewski
Czelabińsk (Rosja)

Специфика колымского юмора

Материалом нашей статьи стали воспоминания бывших колымских заключённых. Фрагменты воспоминаний, имеющие в своём составе „юмор”, будут рассмотрены в отрыве от целостного содержания текстов. Такой подход обусловлен тем, что выбранные фрагменты являются вполне законченными смысловыми единицами текста и содержат самостоятельные идеи, связанные с сюжетами текстов. Произведения, из которых заимствованы „юмористические” фрагменты, смешными назвать не получается, поскольку их авторы хорошо понимали, испытав на „собственной шкуре”, значение и роль колымской каторги в уничтожении огромного количества ни в чём не повинных людей. Этот „фон” не позволяет веселиться нормальному человеку.

Колыма в исторической и культурной памяти человечества навсегда останется местом мучительной гибели сотен тысяч заключённых – и это основной смысл большинства мемуарных текстов о лагерной Колыме. И всё же, вспоминая страшные события, авторы ряда документальных и документально-художественных текстов уделяют внимание и такому специфическому понятию, появившемуся в XX веке, как „колымский лагерный юмор”. Особенности этого явления и будет посвящена наша статья.

Авторы воспоминаний о ГУЛАГе в первую очередь акцентируют внимание на том, что запомнилось им больше всего: страданиях, лишениях, непосильной работе, голоде, холоде, бесконечных унижениях, болезнях и смерти. Фиксация внимания на этих условиях существования является как бы установленной нормой, которая мало удивляла человека, встречавшегося с этими явлениями повседневно. Смех и юмор для них – это очевидное исключение из правил, отголоски другой, вольной, жизни.

В одном из словарей значение слова „юмор” определяется как „[...] особый вид комического; отношение сознания к объекту, сочетающее внешне комическую трактовку с внутренней серьёзностью. В согласии

с этимологией слова, юмор заведомо «своенравен», лично обусловлен, отмечен отпечатком «странного» умонастроения самого «юмориста»¹.

Очевидно, что своенравия, личной обусловленности и странного умонастроения в юморе колымского „подземного мира”, разъеденного блатарской идеологией, хватало с избытком, но эти странности в значительной степени связаны с фатальной деформацией человеческого сознания, с изменением вследствие звериной борьбы за выживание общепринятых реакций на происходящие вокруг события.

Обратимся к характерным примерам колымского смеха и юмора. В автобиографическом романе Вернона Кресса *Зекамерон XX века* (1969–1989) главка *Колымский юмор* предваряет документально-художественную канву сюжетного повествования. Такая „экспозиция” определяет и саму жанровую специфику романа. Подобное композиционное решение в виде некоего „вводного слова” о колымском юморе помогает глубже понять специфику запроволочной „планеты Колыма”. „Колымский юмор” – это своеобразная увертюра к изображению жестокой абсурдности жизни подневольных обитателей этого забытого Богом „края земли”.

Вкратце фабула названной главки заключается в следующем: умершего в бараке эка-доходягу нарядчик и его подручные пытаются дубинками выгнать на работу, поскольку экзекуторы не догадываются, что „фитиль” мёртв. Дневальный, вернувшийся из столовой в барак, сообщает истязателям о его смерти. Это сообщение становится причиной всеобщего веселья, здесь-то и проявляется во всей красе «колымской юмор»:

Вдруг староста раздражается зычным, раскатистым смехом. Вслед за ним хохочут и остальные. Нарядчик хлопает себя тростью по сапогам и от смеха краснеет как рак. Они смеются до упаду, с надрывом, смеётся теперь и Фёдоров [дневальный], положив руки на тощий живот, смеётся, издавая странные булькающие звуки, однорукый китаец, его помощник. Слыханное ли дело: Сухомлинов, многоопытный нарядчик [одна из зловещих фигур в лагере], о котором знает любой колымчанин, хотел заставить мертвеца идти на развод! Над этим завтра будет смеяться вся Тенька. Первый же этап разнесёт эту весть по всей Колыме, и через месяц о ней будут рассказывать под общий хохот на Чукотке, на Яне².

¹ Л. Пинский, *Литературный энциклопедический словарь*, „Советская энциклопедия” 1987, с. 521.

² В. Кресс, *Зекамерон XX века*, „Художественная литература” 1992, с. 5.

Даже многократно проверенный бригадирский способ (избивание дубиной „провинившегося“) оказался неэффективным в отношении какого-то умершего доходяги – разве не весело? И сам грозный Сухомлинов не смог заставить идти на работу „филона“. И чем смерть не повод для веселья в этом однообразном мире, если она способна поднять настроение у лагерных придурков: старосты, нарядчика, дневального, т.е. „друзей народа“? Здешний юмор связан не с безобидной игрой воображения, а с абсолютно реальными смертями людей. Этот „юмор“ вполне созвучен блатарской поговорке: „Умри ты сегодня, а я – завтра“. Радость экзекуторов происходит на фоне их же ужасающего произвола и массовой гибели заключённых. Юмора в привычном понимании слова здесь нет и в помине. Эта сценка лишь показывает, как неизмеримо далеко друг от друга, в общей своей массе, находились зэка и их начальники (в том числе из самих заключённых), „бытовики“ и „политические“, „друзья“ и „враги народа“.

Типологически схож с предыдущим примером диалог между героями рассказа В.Т. Шаламова *Надгробное слово* (1960) – заключённым-работягой Иоськой Рютиным и пришедшим за ним, чтобы увести на расстрел, „вертухаем в овчине“ (о том, что его поведут на расстрел, Рютин пока не знает):

[...] места наши в бараке были рядом, и я сразу проснулся от неловкого движения кого-то кожаного, пахнущего бараном; этот кто-то, повернувшись ко мне спиной в узком проходе между нар, будил моего соседа:

– Рютин? Одевайся.

И Иоська стал торопливо одеваться, а пахнущий бараном человек стал обыскивать его немногие вещи. Среди немногочисленных нашлись шахматы, и кожаный человек отложил их в сторону.

– Это – мои, – сказал торопливо Рютин. – Моя собственность. Я платил деньги.

– Ну и что ж? – сказала овчина.

– Оставьте их.

Овчина захохотала. И когда устала от хохота и утёрла кожаным рукавом лицо, выговорила:

– Тебе они больше не понадобятся...³.

И здесь звучит издевательски весёлый смех „овчины“ над предсмертной суетой ничего не понимающего „врага народа“, находящегося „по ту сторону“ закона.

³ В. Шаламов, *Собрание сочинений*, „Художественная литература“ 1998, т. 1, с. 369.

Юмор колымских начальников не отличался большим разнообразием, и в нём, как правило, за пределы по жестокости проявления граничили с „человеческим” юмором:

Вот рядом, в одно и то же время, т.е. в 1939–1940 гг. подвизался некто Беликов М.И. – это было чудовище.

В эпоху избиения Берзинских кадров, т.е. зимой 1937–1938 гг., он чем-то понравился, особенно Гаранину [во времена полковника Гаранина на Колыме было расстреляно более десяти тысяч заключённых], и был выдвинут на должность начальника лагеря прииска „Майорыч”. Происхождение его мне неизвестно, но вся психология, весь моральный облик и даже внешность говорили за уголовное прошлое. На этом прииске он стяжал себе громкую славу тем, что переморил весь личный состав лагеря.

Выше я писал, что хоронить умерших зимой на Колыме дело хлопотливое, вот и он складывал покойников за складом просто навалом в кучу. Снег их заносил, но руки торчали, и вот, однажды, обходя свои владения, он не без остроумия заметил – *вот троцкисты не могут успокоиться и здесь за Троцкого голосуют.*

Беликов, сам того не зная, подводил итог внутривластного развития. Действительно, эпоха фракций, платформ, голосований на съездах окончилась надолго: после тридцать седьмого года стали голосовать по команде, и с тех пор дружно голосуем по сегодняшний день [над своими воспоминаниями А.С. Яроцкий работал с 1965 г. по 1976 г., опубликованы впервые в 1989 г.]⁴.

Из той же области „юмор” другого колымского начальника – Чумы, наказывающего справлявшего малую нужду в неполюженном месте, зэка:

Чума неумолим. Пусть все знают и помнят: слово его – закон. Он никому не даст поганить лагерь; и добро бы ещё бытовики, а тут – контрольная статья, она и на воле мешала людям жить, она и здесь злобничает, мутит и норвит нашкодить. И зек, содрогаюсь от колымского мороза [...], в одном исподнем [...], покачиваясь от слабости, бредёт в удавиловку или, иначе, кандей [...]. Бредёт покорно, смиренно, только на босые ноги жалуется. [...] Чума же внятно и вьедливо вразумляет: „Не вреди, пятьдесят восьмая, не посягай, не злобничай...”. А что до босых ног, то он утешает: *Гуси целую зиму ходят босиком и не жалуется, а вы, контрики, приспособились дурить советскую власть и всё жалуетесь*⁵.

⁴ А. Яроцкий, *Золотая Колыма*, Рупап 2003, с. 150.

⁵ З. Румер, *Колымское эхо*, „Подъём” 1988, № 12, с. 29.

В подобных ситуациях начальник всегда прав, и возражать ему не разрешается.

На характерном вохровском развлечении акцентирует внимание повествователь рассказа Г.Г. Демидова *Начальник* (1965):

Привычным движением сытый и дюжий придурок [староста лагеря] пнул плечом крайнего в переднем ряду. Удар был умело нацелен наискось нашего строя, и весь он оказался мгновенно смятым. Несколько человек упали наземь.

– Вот это да! – довольно загоготал староста, – первого бьёшь, а десятый валится⁶.

Весёлый гогот „придурка” направлен в адрес полуживых от голода и холода людей, пригнанных в лагерь и вынужденных ждать, по произволу местного начальника, на лютом морозе у лагерных ворот, пока через много часов вернутся с работы другие зэка – такие же полуживые доходяги.

У Ю.О. Домбровского в *Факультете ненужных вещей* (1964–1975) приводится пример дегенеративного „юмора” бывшего обитателя лагеря. „Юмор” здесь имеет отношение к крайней степени голода экапрофессора:

По любому пункту [т.е. лагерю] бродят всегда два или три таких милых призрака. А одного вот профессора так в помойном ящике заперли. Он туда залез за „калориями”, вот его и подкараулили. Хорошо, что летом было, а то бы сдох. Но всё равно достали еле живого. *Вот смеху-то было*⁷.

Эта точка зрения „старика” в разговоре с героем романа Зыбиным, скорее, отражает блатарский взгляд на человека и на такие понятия, как „юмор” и „смех”. Зыбин удивлён неадекватной реакцией на едва живых людей, которых его собеседник („старик”) называет „милыми призраками”:

– *Смеху?* – спросил Зыбин. Его пугал и смущал беспощадно злорадный тон старика, и было странно и страшновато: можно ли так издеваться над человеческой нуждой и слабостью?⁸.

⁶ Г. Демидов, *Чудная планета*, „Возвращение” 2008, с. 187.

⁷ Ю. Домбровский, *Собрание сочинений*, „Терра” 1993, т. 5, с. 480.

⁸ Ibidem.

В *Кратких повестях* Л.Ф. Консона, написанных до 1983 г., все обитатели барака захвачены безудержным весельем по поводу комической ситуации, в которую попал „дядя Паша“:

Насмешил дядя Паша. Сосед взял у него трубку покурить. Покурил и умер. Ребята потащили покойника в санчасть, а дядя Паша суетится, всё трубку хочет забрать.

– У него моя трубка, отдайте трубку. [...] Трубку мою отдайте.

Ребята дядю Пашу отталкивают, а он всё к покойнику лезет. Весь барак смеялся. Вот чудак⁹.

И хотя этот случай не совсем то же самое, что два предыдущих [здесь действие происходит не в колымском лагере, но юмор от этого веселее не становится], однако и здесь рядом со смертью звучит вовсе не героический смех, побеждающий смерть, а смех, свидетельствующий о цене человеческой жизни в лагере. Мы видим желание посмеяться над самой необычной ситуацией (трубкой у покойника) и затруднительным „до комизма” положением „дяди Паши”, пытающегося „на законных основаниях” вернуть свою собственность.

Юмором со специфическим уклоном отмечен эпизод рассказа Г.Г. Демидова *Амок* (рубеж 1960–1970-х гг.). В одном из фрагментов рассказа звучит лагерный полилог блатнячек, издевающихся над „святыми”, т.е. „религиозниками” из их же штрафной бригады. В штрафную бригаду „святые” попали за отказ работать в праздники (евангелистка – в воскресенье, субботница – в субботу), „хотя работниц трудолюбивее их во всём лагере не было”¹⁰. Полилог ведётся на небольшом турнепсном поле, куда конвой пригнал бригаду штрафниц:

– Хорошо, – томно сказала одна из блатнячек. – Святые за нас поработают, а мы полежим.

– Святым и положено вкалывать, – заметила другая. – Они ведь не за так работают. За место в своём раю стараются...

– Да какой это рай? – пренебрежительно махнула рукой третья. – У ихнего бога, как у нашего Повесь-чайника [прозвище-голофразис начальника лагеря], любовь-то под запретом.

Бабы залиvisto захохотали.

– А как там, в раю, – поинтересовалась одна из женщин, – бабы и мужики в одной зоне или в разных живут?

⁹ Л. Консон, *Краткие повести*, La Presse Libre 1983, с. 24.

¹⁰ Г. Демидов, *op. cit.*, с. 69.

- А про это у святых спроси, – ответила ей Макака. – Они про рай всё знают.
– Говорят, тем, кто в рай попадает, срочно крылышки выдают, – мечтательно произнесла та, что интересовалась вопросом, вместе или порознь живут в раю женщины и мужчины. – Выходит, что там можно с парнем на любой чердак и без лестницы забраться...
– Так и надзиратели в раю небось с крылышками! – возразили ей¹¹.

Кажущаяся безобидность этого фрагмента вовсе не является таковой, поскольку блатнячки зло отыгрываются на безропотных и трудолюбивых собригадницах, которые работают и за них в том числе. О глумливом обсуждении темырая и говорить не приходится – блатарки пытаются как можно сильнее оскорбить „религиозниц”, которые и своими принципами, и своим поведением резко от них отличаются. Справедливости ради отметим, что Богиня, одна из авторитетных персон этого лихого общества, иногда „святых” защищает, о чём свидетельствует реплика диалога: „– Гляди, Макака, вот скажу Богине, что ты святых обижаешь, она те чертей пропишет! Не посмотрит, что ты у неё шестеришь...”¹². Понятие о рае у блатнячек вполне вписывается в их визуальную картину мира. Непременный атрибут такогорая – ангельские крылышки со старых картинок виденных когда-то в прошлом. Эти крылышки, как по команде начальника, выдаются всем, попавшим в рай. Кроме того, рай понимается ими в образе заоблачной лагерной зоны, непременно ограждённой колючей проволокой, за которую невозможно выйти. Образно-вещный мир колымской зоны, переносясь за её пределы, обретает едва ли не вселенские масштабы. Лагерные и ангельские „атрибуты” смешиваются, а намеренное снижение „высокой” тематики до уровня колымской каторги создаёт невесёлый комический эффект, понятный участникам полилога, говорящим на одной фене. Этот юмор не понятен „религиозницам”. Отметим, что в бахвальстве блатнячек есть и драматические нотки, связанные с тем, что участницы полилога напрочь отучились отождествлять себя с другими представителями общества, кроме блатного лагерного, они не представляют себя (по „естественным” причинам) „на воле” без глубоко вьвшейся в них барачной жизни. Имена-голофразисы (Повесь-чайник, Анюта Откуси Ухо и др.), придуманные по случаю подругами по нарам, тоже характеризуют специфику лагерного примитивно-первобытного юмора.

¹¹ Ibidem, с. 81–82.

¹² Ibidem, с. 69.

К другой области юмора – „смеха сквозь слёзы” – можно отнести следующий пример. В написанном „по начальству” заявлении заключённый просит считать себя... лошадыю. Он пытается логично обосновать свою зависть к четвероногому, имеющему перед ним ряд жизненно важных в лагере преимуществ. Правда, это саркастическое обоснование является, безусловно, риторическим, поскольку оно и не рассчитано на реальное изменение безнадёжной судьбы арестанта к лучшему:

Если бы я был лошадыю, то через каждые десять дней мне давали бы выходной. Сейчас у меня выходных нет. Если бы я был лошадыю, то мог бы время от времени отдыхать на работе, а заключённому это не положено... Если бы я был лошадыю, то меня бы кормили вволю, а как заключённый я постоянно голодаю. Если я не выполняю назначенную мне работу, то получаю меньше хлеба... [...] Когда возчики бьют и калечат лошадей, их наказывают. Потому что лошадей на Колыме ценят. Но никто не наказывает охранников и бригадиров, которые бьют меня... за то, что я слишком слаб. Что заключённый на Колыме? Ничто. А вот лошадь – это уже кое-что¹³.

Троекратное повторение „если бы я был лошадыю” звучит как несбывшееся заклинание, от которого автор проводит прямые параллели к существованию собачьему, усиливая тем самым впечатление от условий жизни в неволе. Автор завидует не только лошадям, но и караульным собакам, поскольку те оказываются в более выгодном положении, чем зэка, так как „друзья человека” получали в сутки четыреста граммов мяса, а заключённые, выполнявшие план, только тридцать, да и то не всегда¹⁴. Многие из вспоминавших своё колымское лагерное прошлое говорят или о зависти к лошадям, или о большей ценности жизни лошади, или, чаще, о том и другом одновременно, а также большей ценности для начальства любой полезной техники – экскаваторов, машин, промприборов, лебёдок и т.д., чем жизнью „врагов народа”.

В рассказе В.Т. Шаламова *Калигула* (1962) повествуется об анекдотическом случае – наказании лошади карцером. Упоминание этого рассказа встречается в *Записных книжках* В.Т. Шаламова:

¹³ Цитируется по: Котек, *Век репрессий*, [online] <www.greek-martirolog.ru/1937/gr_oper_part2_gl8.php#_ftn6>.

¹⁴ Цитируется по: *ibidem*.

Десятого ноября 1971 года Лесняк [Борис Николаевич Лесняк – друг В.Т. Шаламова] [...] принёс весть, что его допрашивали в Магадане 15 мая 1971 года [...]. Более всего следователей обижал рассказ *Калигула*. Десятки тысяч людей расстреляны на Колыме в 1938 году при Гаранине – все это допустимо и признано, но вот лошадь в карцер посадить – это уж фантастический поклёп и явный вымысел и клевета. [...] Эту историю рассказали мне два дневальных изолятора, сидевших вместе со мной в карцере „Партизана” зимой 1937–1938 годов. Оба сторожа обвинялись в том, что съели часть трупа этой лошади, сами же её сторожа. Лошадь пала после – это та самая лошадь¹⁵.

Лошадям, хоть и было лучше на Колыме, но, как видим, не всем и не всегда, некоторых приравнивали к заключённым.

Одна из разновидностей „юмора висельников” звучит в диалогах заключённых в сырых и душных трюмах парохода Советская Латвия, держащего курс на Колыму в конце навигации 1946 г. Находящиеся в тяжелейших условиях морского этапа арестанты пытаются шутить. Предметом их шуток становится бочка-параша, на которой в случае кораблекрушения можно счастливо добраться „до берегов Канады и поведать живым, где могилка остальных”¹⁶. Шутки на эту тему продолжались, когда одному из плывущих от качки стало особенно плохо, и он устремился к бочке:

- Ты чё, батя, торопишься? Подожди, рано лезть в бочку, ещё не тонем! – бедняга еле успел до бочки добежать, его выворачивало наизнанку.
- А я, батя, думал, что ты торопишься занять место в бочке, чтобы к берегам Канады первым прибыть.
- Иди ты к чёрту со своей Канадой, – окрысился дед.
- Да ты что, батя, шуток не понимаешь?
- Какие шутки могут быть, когда голова кругом идёт, тошнит.
- Да ты, дед, не расстраивайся, вот пройдем пролив Лаперузу, там пошибче будет, там океан начнётся и болтанка будет до самого Магадана. Чуешь, дед?
- Отстань от старика! Что ты прицепился к нему? Не видишь его состояние?
- А я шо, в парке Сокольников сажу на диване што ли? – осклабился приклатнённый.
- Ты, иди сюда! Я тебе покажу Сокольники! Замолк, подействовало¹⁷.

¹⁵ В. Шаламов, *Новая книга. Записные книжки. Переписка. Следственные дела*, [online] <www.booksite.ru/fulltext/new/boo/ksh/ala/mov/index/htm>.

¹⁶ Д. Алин, *Мало слов, а горя реченька...*, Водолей 1997, с. 175.

¹⁷ Ibidem.

И хотя приведённый диалог едва ли можно назвать особенно злым, а характер шуток кровожадным, но нельзя в нём не отметить радость „приблатнённого” пассажира судна оттого, что кому-то в этот момент хуже, чем ему. Заметна и характерная бравада. С другой стороны, ироничные слова, описывающие виртуальное сидение в парке Сокольники, да ещё и на диване, – ситуация фантастическая для каждого из находящихся в трюме „плавучей тюрьмы” и вовсе не уместная в этот момент по очевидным причинам. Такая ситуация вызывает адекватную реакцию одного из участников полилога, после чего разговоры на эту тему оказываются полностью исчерпанными.

После прибытия этапа на Колыму шулки колымских лагерных придурков-старожилов представляются куда более зловещими, поскольку в них звучат уже не какие-то двусмысленные намёки на гибельное положение людей, а явственно проступает действительная угроза жизням арестантов на золотых приисках, где у пригнанного „живого груза” почти нет шансов на выживание. „Свой деревянный бушлат получите на прииске”¹⁸, – говорит вновь прибывшим арестантам, обнаружившим после похода в баню пропажу своей тёплой одежды, один из всезнающих банных „придурков”. И эти слова куда как реалистичнее вышеописанных шуток приблатнённого пассажира.

Проблеме изображения „зачеловеческого”, которое только по неприемлемому недоразумению может показаться комическим, посвящены слова повествователя рассказа В.Т. Шаламова *Афинские ночи* (1973), в которых автор делает акцент на недопустимости шуточного, смешного тона в отношении трагедий тех, кто оказался не по своей воле на Колыме:

Придёт какой-нибудь писатель-делец и изобразит доходягу в смешном виде. Он уже делал такие попытки, этот писатель, считает, что над лагерем не грех и посмеяться. Всему, дескать, своё время. Для шулки путь в лагерь не закрыт. Мне же такие слова кажутся кощунством. Я считаю, что сочинить и протанцевать румбу *Освенцим* или блюз *Серпантинная* может только подлец или делец, что часто одно и то же.

Лагерная тема не может быть темой для комедии. Наша судьба не предмет для юмористики. И никогда не будет предметом юмора – на завтра, ни через тысячу лет.

Никогда нельзя будет подойти с улыбкой к печам Дахау, к ущельям Серпантинной¹⁹.

¹⁸ Ibidem.

¹⁹ В. Шаламов, *Собрание сочинений*, „Художественная литература” 1998, т. 2, с. 407.

Конечно, только человек с глубоко изменённым сознанием, способен смеяться над смертью ближнего и видеть во многих из приведённых выше примеров „колымского юмора” что-то юмористическое, весёлое и жизнеутверждающее. Об этом и пытались говорить в своих документально-художественных текстах Георгий Демидов и Юрий Домбровский, Вернон Кресс и Даниил Алин, Алексей Яроцкий и Варлам Шаламов.

Streszczenie

Specyfika kołymskiego poczucia humoru

Artykuł jest próbą opisu swoistego kołymskiego poczucia humoru i różnych gatunków tego zjawiska na podstawie wspomnień byłych więźniów Dalekiego Północnego Wschodu, takich jak Warłam Szalamow, Danił Alin, Georgij Diemidow, Zalman Rumier, Wiernon Kress, Jurij Dombrowskij. Pojęcie „kołymskie poczucie humoru” brzmi dość absurdalnie w zestawieniu z okropnymi warunkami życia ogromnej liczby kołymskich niewolników. Rozmaite przykłady „dowcipów” kompletnie dekonstruują stosunki panujące między „przyjaciółmi ludu” i „wrogami ludu” na terenach kołymskich obozów koncentracyjnych epoki Stalina. Jak się wydaje, tylko człowiek ze zwichrowaną osobowością jest zdolny drwić ze swych „sąsiadów po narach”.

Słowa kluczowe: kołymskie poczucie humoru, pamięć, wspomnienia.

Summary

Peculiar properties of „Kolyma humour”

The article is devoted to the problem of „Kolyma humour”. This term is consider by formers Kolyma political prisoners such as Varlam Shalamov, Daniil Alin, Georgiy Demidov, Zalman Roomer, Wernon Kress, Yuriy Dombrowskiy etc. „Kolyma humour” as definition sounded quite absurdly with reference to slavish condition of existence huge quantity deprived elementary civil rights people. Through „Kolyma humour” everyone can see the extremely cruel attitude so called „friends of people” to „enemies of people”. As a result: only human with fatal deformed consciousness has ability for understanding such kind of non-human humour, called „Kolyma humour”.

Key words: Kolyma humour, memory, tragedy, documentary.